

красоты дало молодому, полному сил юноше возможность по-иному увидеть мир, преодолеть уныние и отчаяние. Жизнь кажется теперь студенту «восхитительной, чудесной и полной высокого смысла».

Кажется она таковой или на самом деле такова? Что показано нам: смена ощущений молодого человека (Ивану всего двадцать два года) или вечные закономерности бытия? Однозначного ответа из рассказа не следует. Не дело художника, говорил Чехов, давать ответы, его задача — ставить вопросы. Важно, что вопросы о том, как и из чего складывается наше мировосприятие и отношение к жизни, поставлены правильно. В мире есть место не только ужасам и дисгармонии, но и правде и красоте, не только отчаянию и безнадежности, но и радости и надежде.

* * *

История, рассказанная Чеховым в «Ионыче» (1898), строится вокруг двух признаний в любви — как, собственно, строился сюжет и в пушкинском «Евгений Онегине». Вначале *он* признается в любви *ей* и не встречает взаимности. А спустя несколько лет *она*, поняв, что лучшего человека, чем *он*, в ее жизни не было, говорит *ему* о своей любви — и с тем же отрицательным результатом. Все остальные события, описания нужны как фон, как материал для объяснения того, почему не состоялась взаимная любовь, не получилось взаимное счастье двух людей.

Кто виноват (или что виновато) в том, что молодой, полный сил и жизненной энергии Дмитрий Старцев, каким мы его видим в начале рассказа, превратился в Ионыча последней главки? Насколько исключительна или, наоборот, обыкновенна история его жизни? И как удается Чехову всего в несколько страничек текста вместить целые человеческие судьбы и жизненные уклады?

Как будто на поверхности лежит первое объяснение того, почему герой деградирует к концу рассказа. Причину можно увидеть в неблагоприятном, враждебном окружении Старцева, в обывательской среде города С. И в отсутствии со стороны героя борьбы с этой средой, протеста против нее. «Среда заела» — расхожее объяснение подобных ситуаций в жизни и в литературе.

В превращении Старцева в Ионыча виновата среда? Нет, это было бы по меньшей мере односторонним объяснением.

Герой, противостоящий среде, резко отличающийся от среды, — таков был типичный конфликт в классической литературе, начиная с «Горя от ума». В «Ионыче» есть слово, прямо взятое из характеристики фамусовского общества («хрипуны»), но оно, пожалуй, только резче оттеняет разницу двух соотношений: Чацкий — фамусовская Москва и Старцев — обыватели города С.

Собственно, Чацкого удерживал в чуждом и враждебном ему окружении лишь любовный интерес. Он был изначально уверен в сво-

ем превосходстве над этой средой, обличал ее в своих монологах — среда же выталкивала его, как инородное тело. Оболганным, оскорбленным, но не сломленным и только укрепившимся в своих убеждениях покидал фамусовскую Москву Чацкий.

Дмитрий Старцев, как и Чацкий, влюбляется в девушку из чуждой ему среды (у Чацкого этот отделяющий барьер — духовный, у Старцева — материальный). Как человек со стороны входит он в «самый талантливый» дом города С. У него нет никакого изначального неприятия этой среды — наоборот, в первый раз в доме Туркиных все кажется ему приятным или, по крайней мере, занятным. И потом, узнав, что он не любим, в отличие от Чацкого он не устремляется «искать по свету», а остается жить там же, где и жил, — так сказать, по инерции.

Пусть не сразу, но к какому-то моменту он также почувствовал раздражение против тех людей, среди которых ему приходится жить и с кем приходится общаться. С ними не о чем говорить, их интересы ограничены едой и пустыми развлечениями. Что-либо действительно новое им чуждо, идеи, которыми живет остальное человечество, недоступны их пониманию (например, как это можно отменить паспорта и смертную казнь?).

Что ж, Старцев поначалу тоже пробовал протестовать, убеждать, проповедовать («в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя»). Отклика в обществе эти монологи Старцева не встретили. Но, в отличие от фамусовского общества, которое агрессивнo по отношению к вольнодумцу, обыватели города С. просто продолжают жить, как жили, к инакомыслящему же Старцеву в целом остались вполне равнодушны, пропуская протест и пропаганду мимо ушей. Правда, наградили его довольно нелепым прозвищем («поляк надутый»), но это все-таки не объявление человека сумасшедшим. Более того, когда он стал жить по законам этой среды и окончательно превратился в Ионыча, сами же они от него натерпелись.

Итак, один герой остался не сломлен средой, другого среда поглотила и подчинила своим законам. Казалось бы, ясно, кто из них заслуживает симпатий, кто осуждения. Но дело вовсе не в том, что один из героев благороднее, выше, положительнее другого.

В двух произведениях по-разному организовано *художественное время*. Всего один день из жизни Чацкого — и вся жизнь у Старцева. Чехов включает в ситуацию «герой и среда» течение времени, и это позволяет иначе оценить произошедшее.

«Как-то зимой... весной, в праздник, — это было Вознесение... прошло больше года... стал бывать у Туркиных часто, очень часто... дня три у него дело валилось из рук... успокоился и зажил по-прежнему... опыт научил его мало-помалу... незаметно, мало-помалу... прошло четыре года... прошло три дня, прошла неделя... и больше уж он никогда не бывал у Туркиных... прошло еще несколько лет...»

Чехов вводит в рассказ испытание героя самой обыкновенной вещью — неспешным, но неостановимым ходом времени. Время проверяет на прочность любые убеждения, испытывает на прочность любые чувства; время успокаивает, утешает, но время и затягивает — «незаметно, мало-помалу» переделывая человека. Чехов и пишет не об исключительном или незаурядном, а о том, что касается каждого обыкновенного («среднего») человека.

Тот стукот новых идей, протеста, проповеди, который несет в себе Чацкий, невозможно представить растянутым вот так — на недели, месяцы, годы. Приезд и отъезд Чацкого — как пролет метеора, яркой кометы, вспышка фейерверка. А Старцев проходит испытание тем, чем Чацкий не был испытан, — течением жизни, погруженностью в ход времени. Что обнаруживается при таком подходе?

То, например, что мало обладать какими-то убеждениями, мало испытывать негодование против чуждых людей и нравов. Всем этим Дмитрий Старцев отнюдь не обделен, как всякий нормальный молодой человек. Он умеет испытывать презрение, он знает, чем стоит возмущаться (людская тупость, бездарность, пошлость и т.д.). И Котик, много читающая, знает, какими словами следует обличать «эту пустую, бесполезную жизнь», которая стала для нее «невыносимой».

Нет, показывает Чехов, против хода времени протестантский запал молодости надолго удержаться не может — и может даже превратиться «незаметно, мало-помалу» в свою противоположность. В последней главке уже Ионыч не терпит никаких суждений и возражений со стороны («Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!»).

Более того, у человека может быть не только отрицающий задор — он может обладать и положительной жизненной программой («Нужно трудиться, без труда жить нельзя», — утверждает Старцев, а Котик убеждена: «Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели... Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы...»). Ему может казаться, что он живет и действует в соответствии с правильно выбранной целью. Ведь Старцев не просто монологи перед обывателями произносит — он действительно трудится, и больных он принимает все больше, и в деревенской больнице, и в городе. Но... опять «незаметно, мало-помалу» время совершило губительную подмену. К концу рассказа Ионыч трудится все больше уже не ради больных или каких-то там высоких целей. То, что прежде было вторичным, — «бумажки, добытые практикой», деньги, — становится главным наполнением жизни, ее единственной целью.

Перед лицом времени, незримого, но главного вершителя судеб в чеховском мире, непрочными и ничтожными кажутся любые словесно сформулированные убеждения, прекраснодушные программы. В молодости презирать, прекраснодушничать можно сколько угодно — глядь, «незаметно, мало-помалу» вчерашний живой человек, открытый всем впечатлениям бытия, превратился в Ионыча.

Мотив *превращения* в рассказе сопряжен с темой времени. Превращение происходит как постепенный переход от живого, еще не устоявшегося и неоформленного к заведенному, раз и навсегда оформившемуся.

В первых трех главках Дмитрий Старцев молод, у него не вполне определенные, но хорошие намерения и устремления, он беспечен, полон сил, ему ничего не стоит после работы отмахать девять верст пешком (а потом девять верст обратно), в душе постоянно звучит музыка; как и всякий молодой человек, он ждет любви и счастья.

Но живой человек попадает в среду механических заводных кукол. Поначалу он об этом не догадывается. Остроты Ивана Петровича, романы Веры Иосифовны, игра Котика на рояле, трагическая поза Павы в первый раз кажутся ему достаточно оригинальными и непосредственными — хотя наблюдательность и подсказывает ему, что остроты эти выработаны «долгими упражнениями в остроумии», что в романах говорится «о том, чего никогда не бывает в жизни», что в игре юной пианистки заметно упрямое однообразие и что идиотская реплика Павы выглядит как обязательный десерт к обычной программе.

Автор рассказа прибегает к приему *повторения*. Туркины в 1-й главе показывают гостям «свои таланты весело, с сердечной простотой» — и в 5-й главе Вера Иосифовна читает гостям свои романы «по-прежнему охотно, с сердечной простотой». Не меняет программы поведения (при всех заменах в репертуаре его шуток) Иван Петрович. Еще более нелеп в повторении своей реплики выросший Пава. И таланты, и сердечная простота — совсем не худшие свойства, которые могут обнаруживать люди. (Не забудем, что Туркины в городе С. действительно самые интересные.) Но их запрограммированность, заведенность, бесконечная повторяемость в конце концов вызывают в наблюдателе тоску и раздражение.

Остальные же жители города С., не обладающие талантами Туркиных, живут тоже по-заведенному, по программе, о которой и сказать нечего, кроме: «День да ночь — сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов...»

И вот к последней главе сам Старцев превратился в нечто окостеневшее, окаменевшее («не человек, а языческий бог»), двигающееся и действующее по некоторой навсегда установившейся программе. В главе описывается то, что Ионыч (теперь все его называют только так) делает изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Куда-то выветрилось, испарилось все живое, что в молодости его волновало. Счастья нет, но есть суррогаты, заменители счастья: покупка недвижимости, угождение и боязливое почтение окружающих. Туркины сохранились в своей пошлости — Старцев деградировал. Не удержавшись даже на уровне Туркиных, он в своем превращении скатился еще ниже, на уровень обывателя «тупого и злого», о презрении к

которому он говорил прежде. И это итог его существования. «Вот и все, что можно сказать про него».

Что же было началом превращения, скатывания по наклонной плоскости? В какой момент действия рассказа можно говорить о вине героя, не предпринявшего усилий, чтобы предотвратить это скатывание?

Может быть, так подействовала неудача в любви, став поворотным моментом в жизни Старцева? Действительно, за всю жизнь «любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней». Легкомысленная девичья шутка — назначить свидание на кладбище — дала ему возможность первый и единственный раз в жизни увидеть «мир, не похожий ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет», прикоснуться к тайне, «обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную». Волшебная ночь на старом кладбище — единственное в рассказе, что не несет на себе печати привычности, повторяемости, заведенности. Она одна осталась в жизни героя ошеломляющей и неповторимой.

На следующий день было объяснение в любви и отказ Котика. Суть любовного признания Старцева состояла в том, что нет слов, способных передать то чувство, которое он испытывает, и что любовь его безгранична. Что ж, можно сказать, что молодой человек был не особенно красноречив и находчив в объяснении. Но можно ли на этом основании считать, что все дело в неспособности Старцева к подлинному чувству, что по-настоящему он не любил, не боролся за свою любовь, а потому и не мог увлечь Котика?

В том-то и дело, показывает Чехов, что признание Старцева было обречено на неудачу — каким бы красноречивым он ни был, какие бы усилия ни предпринял, чтобы убедить ее в своей любви.

Котик, как и все в городе С., как все в доме Туркиных, живет и действует по некоторой, как бы заранее определенной программе (кукольное начало заметно в ней), — программе, составленной из прочитанных книг, питаемой похвалами ее фортепьянным талантам и возрастным, а также наследственным (от Веры Иосифовны) незнанием жизни. Она отвергает Старцева потому, что жизнь в этом городе кажется ей пустой и бесполезной, что сама она хочет стремиться к высшей, блестящей цели, а вовсе не стать женой обыкновенного, невыдающегося человека, да еще с таким смешным именем. Пока жизнь, ход времени не покажут ей ошибочность этой программы, любые слова тут будут бессильны.

Это одна из самых характерных для мира Чехова ситуаций: люди разобщены, они живут каждый со своими чувствами, интересами, программами, своими стереотипами жизненного поведения, своими правдами — и в тот момент, когда кому-то необходимее всего встретить отклик, понимание со стороны другого человека, — тот, другой, в этот момент поглощен своим интересом, программой и т.п.

Здесь, в «Ионыче», чувство влюбленности, которое испытывает один человек, не встречает взаимности из-за того, что девушка, предмет его любви, поглощена своей, единственно интересной для нее в тот момент программой жизни. Потом его не будут понимать обыватели, здесь не понимает любимый человек.

Пожив какое-то время, отпив несколько глотков «из чаши бытия», Котик как будто поняла, что жила не так («Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница»). Главной своей ошибкой в прошлом она теперь считает то, что тогда не понимала Старцева. Но понимает ли она его теперь по-настоящему? Страдание, осознание упущенного счастья делают из Котика Екатерину Ивановну, живого, страдающего человека (теперь у нее «грустные, благодарные, испытующие глаза»). При первом объяснении она категорична, он неуверен, при последнем их свидании категоричен он, она же робка, несмела, неуверенна. Но, увы, происходит лишь смена программ, запрограммированность же, повторяемость остаются. «Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! <...> Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным...» — говорит она, и мы видим: да это же фразы прямо из романов Веры Иосифовны, надуманных сочинений, не имеющих ничего общего с действительной жизнью. Словно она опять видит не живого человека, а манекенного героя из романа, сочиненного мамой.

И вновь они поглощены каждый своим, говорят на разных языках. Она влюблена, идеализирует Старцева, жаждет ответного чувства. С ним же почти завершилось превращение, он уже безнадежно засосан обывательской жизнью, думает об удовольствии от «бумажек». Разговорившись было на короткое время, «огонек в душе погас». От непонимания, одиночества человек, отчуждаясь от окружающих, замыкается в своей скорлупе. Так кто же виноват в жизненной неудаче Старцева, в его деградации? Разумеется, нетрудно обвинить его самого или окружающее его общество — но это не будет полным и точным ответом. Окружение, среда определяют лишь то, в каких формах станет протекать жизнь Ионыча, какие ценности он примет, какими суррогатами счастья утешится. Но дали толчок падению героя, привели его к перерождению иные силы и обстоятельства.

Как сопротивляться времени, которое творит дело превращения «незаметно, мало-помалу»? К несчастьям людей ведут вечная их разобщенность, самопоглощенность, невозможность взаимопонимания в самые ответственные, решающие моменты бытия. И как человеку угадать то мгновение, которое решает всю его дальнейшую судьбу? И лишь тогда, когда уже поздно что-либо изменить, оказывается, что человеку за всю его жизнь отпущена лишь одна светлая, незабываемая ночь.

Такая трезвость, даже жестокость в изображении трагизма человеческого существования казались многим в чеховских произведениях чрезмерными. Критики считали, что Чехов таким образом «убивал человеческие надежды». Действительно, «Ионыч» может показаться насмешкой над многими светлыми упованиями. Нужно трудиться! Без труда жить нельзя! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели! Помогать страдальцам, служить народу — какое счастье! Писатели и до, и после Чехова очень часто делали такие и им подобные идеи центральными в своих произведениях, провозглашали их устами своих героев. Чехов показывает, как жизнь, ход времени обесценивают и обесмысливают любые прекраснодушные представления. Все это общие (хотя и бесспорные) места, произнести и написать которые ровно ничего не стоит. Ими может наполнять свои романы графоманка Вера Иосифовна, пишущая «о том, чего никогда не бывает в жизни». Старцев никогда бы не стал героем романа Веры Иосифовны: то, что с ним произошло, — это то, что бывает в жизни.

«Ионыч» — рассказ о том, как невероятно трудно оставаться человеком, даже зная, каким следует быть. Рассказ о соотношении иллюзий и подлинной (страшной в своей обыденности) жизни. О реальных, не иллюзорных трудностях бытия.

Что же, действительно Чехов так безнадежно смотрит на судьбу человека в мире и не оставляет никакой надежды?

Да, Дмитрий Старцев с неизбежностью идет к превращению в Ионыча, и в его судьбе Чехов показывает то, что может произойти с каждым. Но если Чехов показывает неизбежность деградации изначально хорошего, нормального человека с незаметным ходом времени, неминучесть отказа от мечтаний и представлений, провозглашаемых в молодости, — значит, действительно он убивает надежды и призывает оставить их у порога жизни? И констатирует вместе с героем: «Как в сущности нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это!»? Так понять смысл рассказа можно лишь при невнимательном чтении, не дочитав текст до конца, не вдумавшись в него.

Разве не видно в последней главке, как все, что произошло с Ионычем, названо своими именами, резко, прямо? Жадность одолела. Горло заплыло жиром. Он одинок, живет ему скучно. Радостей в жизни нет и больше не будет. Вот и все, что можно сказать про него.

Сколько презрения заключено в этих словах! Очевидно, что писатель, на протяжении всего рассказа внимательно прослеживавший духовную эволюцию героя, дававший возможность понять его, здесь отказывается оправдать, не прощает деградации, ведущей к такому завершению.

Смысл рассказанной нам истории, таким образом, может быть понят на стыке двух начал. Мать-природа действительно нехорошо шутит над человеком, человек часто бывает обманут жизнью, време-

нем, и трудно бывает понять степень его личной вины. Но настолько отвратительно то, во что может превратиться человек, которому дано все для нормальной, полезной жизни, что вывод может быть только одним: бороться с превращением в Ионыча должен каждый — пусть надежд на успех в этой борьбе почти нет.

Гоголь в лирическом отступлении, включенном в главу о Плюшкине (а эволюция Ионыча чем-то напоминает те изменения, которые произошли с этим гоголевским героем), обращается к молодым своим читателям с призывом сохранять всеми силами в себе то лучшее, что дано каждому в молодости. Чехов не делает таких специальных лирических отступлений в своем рассказе. Сопротивляться деградации в почти безнадежной ситуации он призывает всем его текстом.

* * *

Более десяти лет отделяют рассказ «Человек в футляре» (1898) от ранней юмористики, но в этом, одном из самых известных произведений Чехова-прозаика, немало общего с шедеврами его литературной молодости. Прежде всего это сочетание конкретной социальной сатиры, материала, связанного с определенной исторической эпохой, с философской темой, с вечными, общечеловеческими вопросами.

Рассказ о гимназии и городе, терроризированных страхом, который внушало ничтожество, вобрал в себя признаки целой эпохи в жизни всей страны за полтора десятилетия. Это была вся Россия эпохи Александра III, только что отошедшей в прошлое, но то и дело о себе напоминавшей.

Из описания тщедушного гимназического учителя вырастают точно обозначенные приметы эпохи. Мысль, которую стараются запрятать в футляр. Господство циркуляра запрещающего. Разгул шпионства, выслеживания, доноса. Газетные статьи с обоснованием запретов на все, вплоть до самых нелепых («запрещалась плотская любовь»). И как итог — страх рабский, добровольный, всеобщий. Беликов «угнетал нас», «давил нас всех», люди «стали бояться всего», «подчинялись, терпели». Тут же, параллельно с обрисовкой Беликова, есть по-чеховски лаконичная и точная характеристика запуганной российской интеллигенции: «... стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте...» Так ведут себя «мыслящие, порядочные» интеллигенты, подавшись страху перед человеком в футляре.

Циркуляры-запреты, столь близкие и понятные Беликову, борются с живой жизнью. О циркуляр разбиваются волны плещущего житейского моря: проказы гимназистов, любовные свидания, домашние спектакли, громкое слово, карточные игры, помощь бедным, переписка, то есть любые формы общения. При всей пестроте и неравнозначности это — различные проявления живой жизни. Главное для